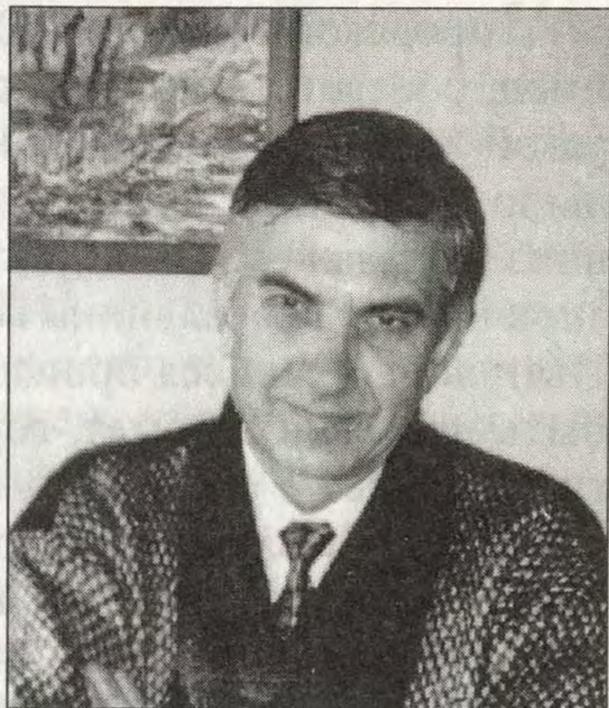


# Николай Левченко

Николай Романович Левченко родился в 1947 году в поселке Уркан Тындинского района Амурской области. Окончил Благовещенский медицинский институт. Работает преподавателем кафедры патологической анатомии Амурской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук. Член Союза писателей России, автор трех сборников стихотворений.



## Рассказы

### Шок

— Благодать! — сказал Николай Петрович.

— Благода-а-ть! — сказал Сергей Иванович.

— Благода-а-а-ть! — сказали бы вы, оказавшись третьим в этой компании.

Ничего другого и сказать было нельзя, потому что ничего, кроме благодати, не исходило от этого ясного майского дня, от молодой полупрозрачной зелени черемух, сквозь которую маняще открывался просторный пойменный луг, и спокойная река, и дальний другой берег этой реки под пронзительно васильковым небом с редкими облачками.

Но это еще не все. Дело в том, что сказочный ландшафт открывался с чистой верандочки бани. Срубленная из добротного бруса, пахнувшая сосной, березовыми дровами и дубовыми вениками, эта баня светилась между медноствольными соснами на берегу чистого говорливого ручья. Ледяная его вода журчала зимой и летом, часто в это журчанье вплетались людские голоса, которые учила неторопливой речи текущая вода.

Но и это еще не все. Капли этой ледяной воды слезились на стекле праздничной, вынутой из ручья бутылки и счастливою слезой сбегали на вышитую льняную скатерть. Перед тем как увлажнить ее, они перемигивались с каплями на хрустальных рюмках, блюдах и салатницах разной формы и содержания. В них блаженствовали под деревенской сметанкой скользкие груздочки, оттаивало тонко нарезанное сало: с розоватым румянцем смущения оно ревниво глядело на ломтики дорогих городских гостей — сыра и сырокопченой колбасы. Было и другое, на что можно было поглядеть, но пора быть милосердным.

Николай Петрович вот уже более двадцати лет был главным врачом здешней участковой больнички и хирургом участкового уровня. Невысокого уровня, но широкого профиля.

Городской гость его, Сергей Иванович, бывший однокашник, уровень имел, соответственно, городской. Начав как узкий специалист, он по этой узкой лестнице карабкался вверх и кое-чего достиг. Достичь большего мешало отсутствие нужных талантов и связей, но и погибельно спуститься вниз не давали те связи, что имелись. Он скользил по горизонтали, соскользнув нынче в начальники комитета, название которого среди врачей Сергей Иванович стеснялся произносить. Он изредка приезжал сюда, приезжал забыть про свой комитет, город, начальство, подчиненных и убедиться, что где-то на свете еще есть благодать.

Будь это, скажем, в Германии или во Франции, дальнейший разговор с довольной улыбкой вальсировал бы и вальсировал вокруг этой благодати. Но то была окраина России, и после третьей рюмки здесь во взгляде просыпалась не то жалость, не то совесть. Взгляд этот замечал вдруг дырявую соседскую крышу, пустые проемы бывшей фермы, одинокую человеческую фигурку посреди длинной дороги или тревожащее молчаливое безлюдье этой земли.

Из противоречия между разрухой и благодатью, из противоречия, которое то больше, то меньше, но присутствовало здесь всегда, возникала труднообъяснимая склонность народа этой страны к долгим откровенным разговорам. Из этой склонности, надо думать, возникла всемирная слава здешней литературы, музыки и вся загадочность русской души.

К философии здесь рано или поздно, вольно или невольно сворачивает всякий серьезный разговор. Собеседники были старыми уже врачами, и всякая жизненная проблема для них принимала форму болезни, которой предстояло поставить диагноз, а уж после этого становились понятными способы лечения. Окажись здесь какой-нибудь гуманитарий, какой-нибудь — не к столу будет сказано — политолог, он наверняка запиричитал бы, что это профанация. Причитал бы недолго — ему налили бы сколько нужно, потом налили еще, до тех пор, пока он не прозрел бы, увидев, как все просто.

Начал Николай Петрович:

— Можно по-всякому относиться к тому, что происходит, можно по-всякому на это смотреть, только в последнее время врачебное мое чутье шепчет о шоке. То есть шоком уж очень попахивает все течение нашей общественной жизни. Вот посмотри, коллега: главное в шоке — централизация кровообращения, когда кровоснабжаются в основном легкие, сердце и мозг. Да и мозг — только в тех структурах, которые имеют отношение к жизненно необходимым легким и сердцу. Кора с ее сознанием не так уж для того и важны, так что сознание можно временно и отключить.

Если для государства кровь — это деньги, то мы наблюдаем, что основная масса их циркулирует в пределах столичной кольцевой дороги, скупно перетекая за ее пределы. Перетекая за них, скажем, в наш областной центр, она как-то очень неохотно покидает его границы. Дойдя до центра районного, она тоже стремится остаться там. Все эти периферические руки-ноги потерпят, билось бы сердце да легкие дышали. Хотя бы маленькие сердце и легкие районного масштаба. Везде, куда бы ни проникала эта кровь, она

стремится попасть в наиболее кратчайшие пути и вернуться по ним обратно, минуя мелочь узких капилляров.

Николай Петрович замолчал, а гость его хмыкнул, задумчиво и медленно захрустел соленым огурчиком.

В начале своей врачебной карьеры Сергей Иванович был анестезиологом-реаниматологом и разных шоков перевидал великое множество. В общем, они походили один на другой: короткое возбуждение, потом более длительный период, когда больной заторможен, со спутанным сознанием или вообще без оно́го. Это для неискушенного взгляда смерть — раз и все. Бывает, конечно, и так, но — редко. Чаще она напозаает медленно, оставляя какое-то время для помощи. И он представил себе это медленное умирание. Представил малокровные мозг, почки, в которых молча гибнут клетки, лишённые кислорода. Не все сразу, а начиная с тех, которые поактивней и которым по причине активности больше требуется кислорода.

Но люди, конечно, не клетки, мелькнула утешительная мысль. Люди отличаются от клеток способностью передвигаться и поэтому норовят перебираться поближе к центру, районному или государственному. Или вообще переселяться в другие, более благополучные организмы.

Пауза затянулась. Рука гостя неделикатно потянулась к стеклу, оно сочувственно звякнуло.

— Чтоб нам всем выжить! — выручил гостя своевременным тостом Николай Петрович. Огурец захрустел дружней, но все же с какой-то медленной задумчивостью.

Николай Петрович решил, что пора далее разворачивать свиток своей доморощенной теории:

— Бытие определяет сознание. Или, ближе к нашей профессии: каков стол, таков и стул... Шоковое бытие определяет шоковое сознание, которое то спутано, то отсутствует. А точнее, разорвано на замкнутые круги мыслей, и каждый гоняет мыслишки по своему кругу. Власть думает о власти, бизнес — о бизнесе, я думаю — как бы мою больничку не прикрыли, ты — про свой комитет... Оно бы и ничего — думай о своем и свое дело делай. А где она — общая мысль, которая делает народ народом, а страну — страной? Впрочем, это вроде высокие материи, и не стоит тут о них, как на Форуме, цитировать. Но, если уж без материй, не любят люди друг друга — вот что плохо. Какая-то всеобщая интоксикация.

Николай Петрович замолчал, деликатно давая гостю место для его суждения. Но тот молчал тоже. Молчал, думая про себя с удивлением, что с какой-то неведомой поры пропало в нем желание откровенно говорить о чем-то, пропало по причине служебной осторожности. Да и думать на абстрактные и неслужебные темы тоже пропало потихоньку желание. Теперь вот он с трудом старался подключиться к разговору, старался, но — не получалось. Кое-как получалось только молча размышлять, да и размышлять-то понятиями той давно оставленной врачебной работы.

Сергей Петрович пытался представить эту интоксикацию общественного организма. В виде чего она? В чем природа этого яда, который копится

между людьми? «Продукты распада, недоокисленные продукты», — услужливо подвертывалась на ум медицинская лексика.

Для начала он подумал о том яде, который циркулировал в его небольшой семейке. Сергей Петрович вспомнил вдруг, как с каких-то непонятных времен исчезли долгие вечерние разговоры после ужина, их заменили телевизоры, с которыми часто и ужинали по отдельности, каждый перед своим каналом. После этих каналов говорить можно было только о том, что на них промелькнуло, но было поздно, сонная одурь мешала. Да и каналы были разные, и пришлось бы говорить о разном. Поэтому молчание, долгое ежедневное молчание казалось единственным спасением от противоречий. Да и на каком языке говорить, если постепенно обычные слова стали содержать в себе совсем разный смысл. Вот скажи он сыну: «Сынок! Спешить делать добро», — так сынок и ответит: «Козе понятно, надо рубить капусту и сильно спешить». И еще добавит про себя: ну, старик, спохватился... Конечно, у других то же самое, если не хуже. Все молчат, и всем невмоготу, но не будь этого всеобщего молчания, были бы только всеобщие разнобой и сплошная ругань. От непонимания происходящего, от обиды на неравенство, от пьяной тоски, от трезвой безнадежности, от чего еще — неведомо. И все это, вместе смешиваясь, превращается в какую-то всеобщую и слепую ненависть. Ненависть провинции к жирной столице, ненависть столицы к нищей и ленивой провинции, города — к пьяной и тупой деревне, а деревни — к сытому и теплomu городу, русских — к нерусским, и русских — друг к другу.

То ли он произнес все это вслух, то ли настолько эти мысли были очевидны и угадывались без слов, но Николай Петрович словно за него продолжил:

— Вот и я дожил до того, что меня в селе уж вроде как и не любят. Почему, спрашивается? Потому что член сельсовета и какая-никакая, а власть? Или потому что держава мне как-то платит за мои труды? А соседке моей, деревенской старухе, платит в десять-пятнадцать раз меньше, то есть не платит никак. И она видит это мое благополучие, которое циркулирует в замкнутом пространстве моего двора, с новой машиной и новой этой баней, и видит, как это благополучие никак не стремится перетечь за ее покосившийся старый забор. А я ей дорогие лекарства выписывать должен и развивать платные медицинские услуги на селе. И что они там говорят по вечерам, не представляю, но легко представить, как внук этой бабки из детского чувства справедливости уже мечтает по ночам и баньку эту поджечь, и гараж. Да и вообще что-нибудь поджечь, гори оно все синим пламенем! Потому что все, что он видит вокруг, как-то нелепо. Нелепо и удивительно не похоже на добрые сказки из старых книг, что хранит еще чердак старого бабкиного дома. В книжках виделись иные, прошедшие или еще только грядущие времена. В тех других временах жизни людей мудро сплетались кольцо с кольцом, образуя то легкие кружева, то стальные кольчуги. И то и другое было украшением и защитой.

Николай Петрович замолчал и молча ругнул себя за краснобайство, от которого гость не на шутку загрустил.

— Благодать! — с надеждой сказал он и посмотрел на небесную даль над далеким горизонтом.

— Благодать! — поспешно поддакнул Сергей Иванович, хотя и не рад уже был этой благодати, которая вдруг обращалась в душе большой и непонятной грустью.

## Психотерапия в свободное от основной работы время

Уже два часа как я — эгоист. Эгоист высокой пробы, химической, кристалльной чистоты. Чистоты свежеснеженного снега в безлюдных просторах Гималаев. В этих просторах я один, и мне не нужно никого. Мне нужен только вот этот компьютер, и то не очень. Мне нужна тишина — вакуум, из которого родится новая вселенная, вселенная того, что я пишу. Как Бог, я создаю заново свет и тьму, людей, их внешность, вычурные обстоятельства их жизни и смерти. Если мне захочется, они будут жить вечно. Я счастлив творением, счастлив до той поры, пока не увижу результата. Он будет хуже, чем планировалось, так бывает всегда, и спасение одно — творить и творить снова.

Проще говоря, я пытаюсь писать прозу, по возможности упругую, как натянутый на подрамнике холст. Пусть кто хочет прикасается к нему, слышит низкое гудение и различает в его музыке и белизне обстоятельства собственной жизни.

Телефон — как рухнувший поднос с посудой. Я возвращаюсь в реальность: шестнадцать часов, рабочий день закончился два часа назад, я остался в кабинете для себя и тишины, но кто-то об этом знает.

— Да, слушаю вас.

— Как хорошо, что вы не ушли...

— Скорее, плохо.

— К вам сейчас подойдет больная, она доктор из района, просим срочно посмотреть ее стекла.

— Хорошо, жду.

Жду и спускаюсь с небес, где готовы были зародиться новые галактики, в скромную обстановку своего тихого кабинетика, к своему микроскопу. Я больше не Бог, я всего лишь серый кардинал онкологии. Моя работа — смотреть гистологические анализы на стеклах и раскладывать человеческие судьбы на три стопки направлений. Слева — самая маленькая стопка — оправдать и освободить, посередине — продолжить следствие (стопка побольше). Правая — самая большая — стопка тяжелых приговоров к операциям, химии, лучам. К смерти? Но это уже дело не мое, а Господа Бога. Я маленький человек, мое дело — не ошибиться в раскладывании бумажек, и только. Инквизиция? — не знаю, просто маленькая работа за маленькие деньги.

Я не вижу лиц этих больных, только лица тех медсестер и лаборантов, кто приносит и уносит анализы на стеклах и направления. Это хорошо, это лучше для беспристрастности, для того, чтобы быть спокойным и точным. Бывают редкие случаи, как тот, что будет сейчас, — редкий случай, когда глаза в глаза. Мысленно делаю заземление от чужой боли, она не должна задерживаться во мне, пусть уходит в землю, где все обращается в нуль. Незаземленные приборы могут врать или перегорают.

Стук в дверь.

— Заходите, заходите. Пальто — сюда, сами садитесь в кресло. Давайте ваши стекляшки, я буду смотреть, а вы — рассказывайте. Только не про болезни, а как там жизнь на ваших северах.

Она начинает говорить, но почти сразу — о том, что двадцать лет заведует родильным отделением, и это — спрятанная просьба: если не о смягчении приговора, то хотя бы о внимательном рассмотрении обстоятельств дела. Зря — уже почти все ясно. Продолжаю смотреть и обдумываю предстоящий диалог. Собеседник — комок воли, двадцать лет в акушерстве — как в спецназе, хуже, чем спецназе. Повидала много и многих, на мякине не проведешь. Эсминцем бы ей командовать. И она делает залп прямой наводкой:

— У меня рак?

— Скорее «нет», чем «да»... (Это мой вираж в поисках более выгодной позиции).

— Говори правду.

— Это правда.

Далее пойдет моя аргументация, похожая на дымовую завесу, из которой в нужной мне последовательности будут извлекаться поочередно одно, другое, третье обстоятельства ее ближайшей судьбы, только не все сразу.

— Видите ли, коллега, атипическая железистая гиперплазия мало отличима от высококодифференцированной аденокарциномы, граница условна, сами понимаете... (Вот дыма напустил!). Оперировать, по-видимому, придется, но операция стандартная, проблем не будет... (Главное обстоятельство показано, теперь — подсластить пилюлю). Судя по стеклам, лучевая терапия и химия вам не грозят, так что через пару недель будете дома живой-здоровой.

Врач — от слова врать, она это знает. Она знает и много другое, и от этого в шестернях современной медицинской технологии ей будет только хуже. Но я — дитя иных времен, и новой шестеренкой никогда, к счастью, не стану. Я еще помню эти старые докторские песни о душе больного, с которой начинается и заканчивается всякое лечение. К тому же я пытаюсь писать стихи и рассказы, из чего тоже должен быть какой-то прок. Хотя бы вот этот — плести из словес вокруг человека кокон, мягкий кокон, хранящий от острых ударов судьбы.

Ты не уходишь, и я не спешу. Давай говорить.

— Не стоит горевать — что есть, то есть. В теперешней вашей шкуре бывать приходилось (вру), имею право дать первый совет: забудьте, что вы — врач, и по возможности расслабленно плывите по течению событий. Тем,

кто будет вас лечить, довериться можно спокойно. Внуки есть? Внучка? Вот и думайте о ней, ни о чем больше.

И она улыбнулась — грустновато, но это была улыбка. Успех у публики окрыляет актера, можно продолжать монолог.

— Если честно, вам повезло, как ни странно это звучит. Вовремя обратились, вовремя прооперируют. Процесс такой, что в нашем магазине лучше не бывает (Еще улыбнулась). Судьба вас, видно, любит и наказывать ни за что не собирается, но предупредить о чем-то хотела. А?

Она ошарашена моим краснобайством. Наверное, впервые за последние дни ее вырывают из круга тревожных мыслей, из кошмара заезженной пластинки, застрявшей на одной нелепой фразе. Нет! Музыка, звучи дальше!

Дальше — о том, что не молоды мы, и осталось нам быть на белом свете, может и не так мало, но, уж точно, не так много. И много осталось долгов перед всеми, и особенно перед самыми близкими нашими. Она кивает и вздыхает, потому что я попадаю в больную точку, догадываясь о бесконечных ее дежурствах и экстренных вызовах, маточных кровотечениях, сепсисах и смертях, за которые она была всегда главной ответчицей перед всеми и перед собой. Вечная усталость, вечный цейтнот и редкость спокойных домашних вечеров, редкость долгих разговоров по душам с выросшей без нее дочерью и седеющим мужем. Она снова улыбается и, наверное, думает, что действительно пора начинать новую жизнь и новую, более спокойную работу, читать книги и ездить на дачу.

— Жизнь иногда показывает свой край, потому что не любит, когда что-то откладывают на потом.

— Спасибо.

— Вам спасибо.

И уже в дверях, оборачиваясь:

— Ну, ты можешь...

Пожимаю в ответ плечами:

— Тужимся...

## Медосмотр

Медосмотр — очень глупое событие.

Если у вас вдруг найдут какую-то болячку, вы что — станете счастливее? Вам что — станет лучше? Не станет! Но, говорят, надо. Надо так надо, и вот вы, крадучись и стесняясь, ставите на указанную тумбочку баночку с мочой (цвет соломенный, прозрачность полная), потом идете сдавать кровь. Кровь из вены кажется вам очень темной и густой, кровь из пальца — та, естественно, идти не хочет. Ваш палец выжимают и выкручивают, как лимон, и вы идете потом с этим перекрученным пальцем, прижимая спасительную ватку, идете к окулисту.

«Ы, Бэ, Ша...» — и потом тоже самое другим глазом. Говорите всю эту с детства знакомую абракадабру и думаете: я что, сам не знаю, что без очков не читаю уже много лет и читать без них уже никогда не буду?

А потом это «А-а-а-а!» у ЛОР-врача, и ему нет никакого дела до вашего горла. Пока вы пространно акаете, он что-то пишет, и это — главный смысл его работы, а совсем не ваши ухо, горло и нос.

С невропатологом уже уместно говорить только о кавинтоне, с дерматовенерологом — уже только о дерме, венерология с некоторых пор стала малоактуальна.

И вот — терапевт. «Раздевайтесь, и на что жалуетесь?» — это говорится одновременно, и так же одновременно я раздеваюсь и жалуюсь. Жалуюсь на язву — да, собственно, и не жалуюсь, а просто сообщаю, что с язвой этой живу много лет и привык уже. Привыкнуть можно ко всему, если только долго с этим жить.

А она уже слушает мое сердце, вдруг смотрит на меня своими большими серыми глазами и говорит: «Проскочила экстрасистола», а я уже и сам знаю, что она проскочила и сейчас проскочит еще одна. Наверное, она поняла это, потому что говорит: «Ложитесь!» — и я многозначительно ложусь.

Она начинает ощупывать мой живот, ощупывает все глубже и глубже. У нее это хорошо получается, и она медленно и задумчиво говорит: «У вас хороший живот». Я мысленно пожимаю плечами — живот как живот, не слишком большой и не слишком маленький. Но тут же замечаю, что живот вдруг на самом деле стал каким-то хорошим. Он послушно расступался под этими ласковыми пальчиками, печень улыбалась из-под края реберной дуги, язва послушно притаилась, а толстая кишка довольно, но деликатно и тихо урчала. Примерно как кошка, которую гладят.

А эти большие серые глаза вдруг сказали мне медленно и многозначительно: «Вам нужен хороший врач и хорошее лечение». Может быть, они это даже дважды сказали, но я уже одевался. Путанно одевался и путанно бормотал сквозь одежду, что у моего друга жена-терапевт и я переговорю с ней...

И тут я снова увидел эти большие серые глаза и недоумение в них.

Я вышел, и когда шел по коридору, мне вдруг послышалось: «Идиот!» Я оглянулся. Но психиатра в комиссии не было. Это говорил мне мой внутренний голос. И еще он говорил: уже сегодня вечером ты мог бы сказать ей, что у нее хороший живот. Но ты не скажешь этого. Возможно, не скажешь никогда. Потому что ты — идиот.

И это был главный диагноз прошедшего медосмотра.